

«Однажды, силою своей превращая воздух в воду, а воду в кровь и уплотняя в плоть, создал я человеческое существо — мальчика, тем самым сотворив нечто более возвышенное, чем изделие Создателя. Ибо тот создал человека из земли, а я — из воздуха, что много труднее...»

Тут мы поняли, что он (Симон Волхв) говорил о мальчике, которого убил, а душу его взял к себе на службу.

Псевдоклементины
(II век н.э.)

Часть первая

Глава первая

«...И будь ты проклят со всем своим балаганом! Надеюсь, никогда больше тебя не увижу. Довольно, я полжизни провела за ширмой кукольника. И если когда-нибудь, пусть даже случайно, ты возникнешь передо мной...»

Возникну, возникну... Часиков через пять как раз и возникну, моя радость.

Он аккуратно сложил листок, на котором слово «кукольник» преломлялось и уже махрилось на сгибе, сунул его во внутренний карман куртки и удовлетворенно улыбнулся: все хорошо. Все, можно сказать, превосходно, она выздоравливает...

Взглядом он обвел отсек Пражского аэропорта, где в ожидании посадки едва шевелили плавниками ночные пассажиры, зато горячо вздыхал кофейный змейгорыныч за стойкой бара, с шипением изрыгая в чашки молочную пену, и вновь принялся рассматривать двоих: бабушку и внучку-егозу лет пяти.

Несмотря на предрассветное время, девочка была полна отчаянной энергии, чего не скажешь о заморозившей ее бабке. Она скакала то на правой, то на левой ноге, взлетала на кресло коленками, опять соскальзывала на пол и, обежав большой круг, устремлялась к старухе с очередным воплем: «Ба! А чем самолет какает, бензином?!»

Та измученно вскрикивала:

— Номи! Номи! Иди же, посиди спокойно рядом, хотя б минутку, о-с-с-с-поди!

Наконец старуха сомлела. Глаза ее затуманились, голова медленно отвалилась на спинку кресла, подбородок безвольно и мягко опустился, рот поехал в зевке да так и застопорился. Едва слышно, потом все громче в нем запузырился клекот.

Девочка остановилась против бабки. Минуты две неподвижно хищно следила за развитием увертюры: по мере того как голова старухи запрокидывалась все дальше, рот открывался все шире, в контрапункте храпа заплескались подголоски, трели, форшлаги, и вскоре торжествующий этот хорал, даже в ровном гуле аэропорта, обрел поистине полифоническую мощь.

Пружиня и пришаркивая, девочка подкралась ближе, ближе... взобралась на соседнее сиденье и, навалившись животом на ручку кресла, медленно приблизила лицо к источнику храпа. Ее остренькая безжалостная мордашка излучала исследовательский интерес. Заглянув бабке прямо в открытый рот, она застыла в благоговейно-отчужденном ужасе: так дикарь заглядывает в жерло рокочущего вулкана...

— Но-ми-и-и! Не беззобраззз... Броссссь ш-ш-ш-лить-сссссь... Дай бабуш-шшш-ке сссс-покойно похрапеть-сссссь...

Девочка отпрянула. Голос — шипящий свист — раздавался не из бабкиного рта, а откуда-то... Она в панике оглянулась. За ее спиной сидел странный дяденька, похожий на индейца: впалые щеки, орлиный нос, вытянутый подбородок, косичка на воротнике куртки. Самыми странными были глаза: цвета густого тумана. Плотно сжав тонкие губы, он с отсутствующим видом изучал табло над стойкой, машинально постукивая пальцами левой руки по ручке кресла. А там, где должна была быть его правая рука... — ужас!!! — шевелилась, извивалась и поднималась на хвосте змея!

И она шипела человеческим голосом!!!

Змея медленно выростала из правого, засученного по локоть рукава его куртки, покачивая плоской головой, мигая глазом и выбрасывая жало...

«Он сделал ее из руки!» — поняла девочка, взвизгнула, подпрыгнула и окаменела, не сводя глаз с этой резиново-гибкой, бескостной руки... В окошке, свернутом из указательного и большого пальцев, трепетал мизинец, становясь то моргающим глазом, то мелькающим жалом. А главное, змея говорила сама, сама — дядька молчал, чесслово, молчал! — и рот у него был сжат, как у сурового индейца из американских фильмов.

— Ищо! — хрипло приказала девочка, не сводя глаз со змеи.

Тогда змея опала, стяхнулась с руки, раскрылась большая ладонь с длинными пальцами, мгновенно и неуловимо сложившись в кролика.

— Номи, задира! — пропищал кролик, шевеля ушами и прыгая по острому колену перекинутой дядькиной ноги. — Ты не одна умеешь так скакать!

На этот раз девочка впиалась глазами в сжатый рот индейца. Плевать на кролика, но откуда голос идет? Разве так бывает?!

— Ищо! — умоляюще вскрикнула она.

10 Дядька сбросил кролика под сиденье кресла, раскатал рукав куртки и проговорил нормальным глуховатым голосом:

— Хорош... будь с тебя. Вон уже рейс объявили, растолкай бабу.

И пока пассажиры протискивались мимо бело-синих приталенных стюардесс, запихивали сумки в багажные ящики и пристегивали ремни в своих креслах, девочка все тянула шею, пытаясь глазами отыскать чудного индейца с косичкой и такой восхитительной волшебной рукой, умеющей говорить на разные голоса...

А он уселся у окна, завернулся в тонкий плед и мгновенно уснул, еще до того, как самолет разогнался и взмыл, — он всегда засыпал в полете. Эпизод со змеей и кроликом был всего лишь возможностью проверить на свежем зрителе некую идею.

Он никогда не заискивал перед детьми и вообще мало обращал на них внимания. В своей жизни он любил только одного ребенка — ту, уже взрослую девочку, что выздоравливала сейчас в иерусалимской клинике. Именно в состоянии начальной ремиссии она имела обыкновение строчить ему гневные *окончательные* письма.

* * *

Привычно минуя гулкую толкотню зала прибытия, он выбрался наружу, в царство шершавого белого камня, все обнявшего — все, кроме разве что неба, вокруг обставшего: стены, ступени, тротуары, бордюры вокруг волосато-лакированных стволов могучих пальм — в шумливую теплынь приморской полосы.

Всегда неожиданным — особенно после сирых европейских небес — был именно этот горячий свет, эти синие ломти спящего неба меж бетонными перекрытиями огромного нового терминала.

Водитель первой из вереницы маршруток на Иерусалим что-то крикнул ему, кивнув туда, где, оттопырив фалды задних дверей, стоял белый мини-автобус в ожидании багажа пассажиров. Но он лишь молча поднял ладонь: не сейчас, друг.

Выйдя на открытое пространство, откуда просматривались хвосты самолетов, гривки взъерошенных пальм и дельфиньи взмывы автострад, он достал из кармана куртки мобильный телефон, футляр с очками и клочок важнейшей бумаги. Нацепив на орлиный нос круглую металлическую оправу, что сразу придало его облику нарочитое сходство с каким-то кукольным персонажем, он ребром ногтя натыкал на клавиатуре номер с бумажки и замер с припаянным к уху мобильником, хищно вытянув подбородок, устремив бледно-серые, неизвестно кого и о чем умоляющие глаза в неразличимую отсюда инстанцию...

...где возникли и томительно поплыли гудки...

Теперь надо внимательно читать записанные русскими буквами смешные слова, не споткнуться бы. Ага: вот кудрявый женский голосок, служебное сочетание безразличия с предупредительностью.

— *Бокер тов!* — старательно прочитал он по бумажке, щурясь. — *Левакеш доктор Горелик, бвакаша!*...

Голос приветливо обронил картавое словцо и отпал. Ну и язык: *бок в каше, рыгал Кеша, ква-ква...*

Что ж он там телепается-то, господи!.. Наконец трубку взяли.

— Борька, я тут... — глухо проговорил он: мобильник у виска, локоть отставлен — банкрот в ожидании

1 Доброе утро! Попросить доктора Горелика, пожалуйста (*иврит*).

12 последней вести, после которой спускают курок. И — горло захлестнуло, закашлялся...

Тот молчал, выжидая. Ну да, недоволен доктор Горелик, недоволен. И предупреждал... А иди ты к черту!

— Рановато, — буркнул знакомый до печенок голос.

— Не могу больше, — отозвался он. — Нет сил.

Оба умолкли. Доктор вздохнул и повторил, словно бы размышляя:

— Ранова-а-то... — и спохватился: — Ладно. Чего уж сейчас-то... Поезжай ко мне, ключ — где обычно. Пошуруй насчет жратвы, а я вернусь ближе к вечеру, и мы все обмозгу..

— Нет! — раздраженно перебил тот. — Я сейчас же еду за ней!

Сердце спотыкалось каждые два-три шага, словно бы нащупывая, куда ступить, и тяжело, с оттяжкой било в оба виска.

— Подготовь ее к выписке, пожалуйста.

...Маршрутка на крутом повороте слегка накренилась, на две-три секунды пугающе замешкалась над кипарисовыми пиками лесистого ущелья и стала взбираться все выше, в Иерусалимские горы. День сегодня выходил мглисто-солнечным, голубым, акварельным. На дальних холмах разлилось кисельное опаловое озеро, в беспокойном движении которого то обнажался каскад черепичных крыш, то, бликуя окнами, выныривала кукольно-белая группка домов на хвойном темени горы, то разверзалась меж двух туманных склонов извилисто-синяя рана глубокой долины, торопливо затагиваясь таким же длинным жемчужным облаком...

Как обычно, это напомнило ему сахалинские сопки, в окружении которых притулился на берегу Татар-

ского пролива его родной городок Томари, Томариора по-японски. 13

*Так он назвал одну из лучших своих тростевых кукол — **Томариора**: нежное бледное лицо, плавный жест, слишком длинные по отношению к маске, тонкие пальцы и фантастическая подвижность узких черных глаз — за счет игры света при скупых поворотах головы. Хороший номер: розовый дым лепестков облетающей сакуры; изящество и завершенность пластической мысли...*

Вдруг он подумал: вероятно, в этих горах, с их божественной игрой ближних и дальних планов, с их обетованием вечного света, никогда не прискучит жить. Видит ли *она* эти горы из окна своей палаты, или окно выходит на здешнюю белокаменную стену, в какой-нибудь кошачий двор с мусорными баками?..

От автобусной станции он взял такси, также старательно зачитав водителю адрес по бумажке. Никак не мог запомнить ни слова из этого махристого и шершавого и одновременно петлей скользящего языка, хотя Борька уверял, что язык простой, математически логичный. Впрочем, он вообще был не способен к языкам, а те фразы на псевдоиностранных наречиях, что вылетали у него по ходу представлений, были результатом таинственной утробной способности, которую *она* считала *бесовской*.

На проходной пропустили немедленно, лишь только он буркнул имя Бориса, — видимо, тот распорядился.

14 Потом переживал в коридоре, увешанном пеннестыми водопадами и росистыми склонами, на которых произрастали положительные эмоции в виде желто-лиловых ирисов, бурный разговор за дверью кабинета. Внутри, похоже, отчаянно ругались на повышенных тонах, но, когда дверь распахнулась, оттуда вывалились двое в халатах, с улыбками на бородатых разбойничьих лицах. Он опять подумал: ну и ну, вот язык, вот децибелы...

— Я думал, тут драка ... — сказал он, входя в кабинет.

— Да нет, — отозвался блаженно-заплаканный доктор Горелик, поднимаясь из кресла во весь свой кавалергардский рост. — Тут Давид смешную историю рассказывал...

Он опять всхлипнул от смеха, взметнув свои роскошные чернобурковые брови и отирая огромными ладонями слезы на усах. В детстве у смешливого Борьки от хохота просто текло из глаз и носа, как при сильной простуде, и бабушка специально вкладывала в карман его школьной курточки не один, а два наглаженных платка.

— Они с женой вчера вернулись из отпуска, в Ницце отдыхали. Ну, в субботу вышли пройтись по бульвару... Люди религиозные, субботу блюдут строго: выходя из дому, вынимают из карманов деньги и все мирское, дабы не осквернить святость дня. Гуляли себе по верхней Ницце — благодать, тишина, богатые особняки. Потом — черт дернул — спустились вниз, на Английскую набережную... — И снова доктор зашелся нежным голубиным смехом, и опять слеза покатилась к усам. Он достал платок из кармана халата, протрубил великолепную руладу, дирижируя бровями.

— Ох, прости, Петька, тебе не до этого... но жутко смешно! Короче: там то ли демонстрация, то ли карна-

вал — что-то кипучее. Какие-то полуголые люди в желтых и синих париках, машины с разноцветными флажками. Толпа, музыка, вопли... Минут через пять только доперли, что это гей-парад. И тут с крыши какой-то машины спрыгивает дикое существо неизвестного пола, бросается к Давиду и сует ему что-то в руку. Когда тот очнулся и глянул — оказалось, презерватив...

Большое веснушчатое лицо доктора расплылось в извиняющейся улыбке:

— Это дико смешно, понимаешь: святая суббота... и возвышенный Давид с презервативом в руке.

— Да. Смешно... — Тот криво усмехнулся, глядя куда-то в окно, где из будки охранника по пояс высунулся черно-глянцевый парень в оранжевой кепке, пластикой разговорчивых рук похожий на куклу Балтасара, последнего из тройки рождественских волхвов, тоже — черного и в оранжевой чалме. Он *водил* его в театре «Ангелы и куклы» в первые месяцы жизни в Праге.

Волхв-охранник возбужденно переговаривался с водителем легковушки за решетчатыми воротами, и невозможно опять-таки было понять — ругаются они или просто обмениваются новостями.

— Ты распорядился? Ее сейчас приведут?

Борис вздохнул и сказал:

— Сядь, зануда... Можешь ты присесть на пять минут?

Когда тот послушно и неловко примостился боком на широкий кожаный борт массивного кресла, Борис зашел ему за спину, обхватил ручищами жесткие плечи и принялся месить их, разминать, приговаривая:

— Сиди... сиди! Зажатый весь, не мышцы, а гаечный ключ. Сам давно психом стал... Примчался, гад, кто тебя звал? Я тебя предупреждал, а? Я доктор или кто? Сиди, не дергайся! Вот вызову полицию, скажу —

16 в моем же кабинете на меня маньяк напал, законную мою супругу увозит...

— Но ты правда распорядился? — беспокойно спросил тот, оглядываясь через плечо.

Доктор Горелик обошел стол, сел в свое кресло. С минуту молча без улыбки смотрел на друга.

— Петруша... — наконец проговорил он мягко (и в этот момент ужасно напомнил даже не отца своего, на которого был чрезвычайно похож, а бабушку Веру Леопольдовну, великого гинеколога, легенду роддома на улице Щорса в городе Львове. Та тоже основательно усаживалась, когда приступала к «толковой беседе» с внуком. В этом что-то от ее профессии было: словно вот сейчас, с минуты на минуту покажется головка ребенка, и только от врача зависит, каким образом та появится на свет божий — естественным путем или щипцами придется тащить). — Ну что ты, что? В первый раз, что ли? Все ж идет хорошо, она так уверенно выходит из обострения...

— Знаю! — перебил тот и передернул плечами. — Уже получил от нее три письма, все — проклинающие.

— Ну, видишь. Еще каких-нибудь три, ну, четыре недели... Понимаю, ты до ручки дошел, но сам вспомни: последняя ее ремиссия длилась года два, верно? Срок приличный...

— Слушай, — нетерпеливо произнес тот, хмурясь и явно перемогаясь, как в болезни. — Пусть уже ее приведут, а? У нас днем рейс в Эйлат, я снял на две ночи номер в «Голден-бич».

— Ишь ты! — одобрение бровями, чуть озадаченное: — «Голден бич». Ни больше ни меньше!

— Там сезонные скидки...

— Ну, а дальше что? Прага?

— Нет, Самара... — И заторопился: — Понимаешь, тетка у нас померла. Единственная ее родственница, се-

стра матери. Бездетная... То есть была дочь, но на мотоцикле разбилась, вместе с кавалером, давно уже... Теперь вот Вися померла. Там квартира, вот что. Ее же можно продать?

— Наверное, — Борис пожал плечами. — Я уже совсем не понимаю, что там у них можно, чего нельзя.

— Это бы нас здорово поддержало.

Доктор потянулся к телефону, снял трубку и что-то в нее проговорил...

— Пересядь вон туда, в угол, — распорядился он, — не сразу увидит... — И вздохнул: — Каждый раз это наблюдать, можно самому рехнуться.

Второе кресло стояло в углу под вешалкой, и, распахнувшись, дверь становилась ширмой для того, кто в кресле сидел. А если еще укрыться гигантским уютным плащом доктора Горелика, закутаться в него, закуклиться... забыть вдруг и навсегда — зачем приехал: *ее забыть*. Вот радость-то, вот свобода... Черта с два! Все последние мучительные недели он мечтал об этих вот минутах: как ее приведут и, еще не замеченный, он увидит трогательную и будто неуверенную фигурку в двух шагах от себя.

Из-за этой субтильности никто никогда не давал ей ее возраста.

Шаги в коридоре... На слух-то идет кто-то один, и грузный, но его это с толку не собьет: она с детства ступала бесшумно — такими воробьиными шажками шествуют по сцене марионетки.

И разом дверь отпахнулась, и под гортанный приветственный рокот заглянувшей и тут же восвоеси потопавшей по коридору медсестры в контражуре окна вспыхнул горячей медью куст воздушных волос: *неопалимая купина моя*... С рюкзаком на плече, в джинсах и

18 тонком бежевом свитерке — в том, в чем он привез ее сюда в августе, — она стояла к нему спиной: ювелирная работа небесного механика, вся, от затылка до кроссовок, свершенная единым движением гениальной руки.

Как всегда после долгой разлуки, он был потрясен удивительно малым — метр сорок восемь — ростом: как ты хрупка, моя любовь... И тут как тут — услужливым детским кошмаром, из-под шершавой ладони Глупой Баси, которая пыталась закрыть ему глаза, заслонить мальчика от картины смерти, — взметнулась в памяти синяя простыня над телом, ничком лежащим на «брукивке» мостовой. И две живые, длинные пурпурные пряди, словно отбившись от медного стада волос, весело струились в весеннем ручейке вдоль тротуара...

— Ну, привет, Лиза! — воскликнул доктор Горелик с ненатуральным энтузиазмом. — Я смотрю, ты молодцом, м-м-м? Премного тобой доволен...

Как ты хрупка, моя любовь... Скинь же рюкзак, он оттянул плечико.

Она скинула рюкзак на пол, подалась к столу и, опершись о него обеими ладонями, оживленно заговорила:

— Да, Боря, знаешь, я совершенно уже здорова. И даю тебе слово, что... видишь ли, я чувствую, я просто уверена, что смогу жить одна... Ты ведь сам говорил, что у меня абсолютно самостоятельное мышление...

— Лиза... — бормотнул доктор, вдруг заинтересованно подавшись к экрану компьютера, вздыхая и поводя своими, отдельно и широко живущими на лице бровями (никогда не умел притворяться, как не умел в школе списывать на контрольных). — Лиза ты моя, Лизонька...

— И ты был прав! — с каким-то веселым напором продолжала она, поминутно касаясь беспокойными пальцами предметов на полированной столешнице — бронзовой площадки со скрепками, степлера, сувенирного плясуна-хасида с приподнятой коленкой, — то выстраивая их в ровную линию, то движением указательного пальца опять расталкивая порознь. — Прав был, что начинать надо с места в карьер, все отрезав! Я все отсекала в своей жизни, Боря, не оглядываясь назад, ничего не боясь. Я теперь внутренне свободна, полностью от него свободна! Я уже не марионетка, которую можно...

И тут, перехватив беспомощный взгляд Бориса, направленный вверх ее головы в дальний угол комнаты, мгновенно обернулась.

Засим последовала бурная, рывками произведенная мизансцена: двое мужчин, как по команде, вскочили, и только сачков не хватало в их руках, чтобы прихлопнуть заматавшуюся пунктиром бабочку. Впрочем, все продолжалось не более пяти секунд.

Она молча опустила на стул, закрыла лицо ладонями и так застыла.

— Лиза... — Доктор Горелик, пунцовый, несчастный, обошел стол и осторожно тронул ее сведенные судорогой, детские по виду плечи. — Ты же умница и все сама понимаешь... Ну-ну, Лиза, пожалуйста, не стынь так ужасно! Ты сама знаешь, что необходим период э-м-м... адаптации. Есть же и бытовые обстоятельства, Лиза! С ними надо считаться. Человек не может жить вне социума, в воздухе, нигде... Ты уже выздоровела, это правда, и... все хорошо, и все, поверь мне, будет просто отлично... Но пока, сама понимаешь... ты же умница... Петя только временно — вдумайся, — временно-но... ну, просто в качестве э-м-м... дружеского плеча...

Тот, в качестве дружеского плеча, с помертвевшим костистым лицом, с пульсирующей ямой под ребрами, пустыми глазами глядел в окно, где под управлением *дары приносящей* руки черного волхва-охранника медленно пятилась в сторону решетка автоматических ворот, пропуская на территорию больницы машину-амбуланс...

Он знал, что эти первые минуты будут именно такими: ее оголенная беспомощная ненависть; его, как ни крути, оголенное беспомощное насилие. Всегда готовился к этим проклятым минутам — и никогда не бывал к ним готов.

* * *

Всю дорогу до Эйлата он внешне оставался невозмутим, меланхолично посвистывал, иногда обращался к ней с каким-нибудь незначимым вопросом:

— Ты хочешь у окна или?..

Она, само собой, не отвечала.

Это нормально, твердил он себе, все как в прошлый раз. Надеялся на Эйлат — прогнозы обещали там райскую синь и румяные горы — и уповал на отель, за который, при всех их сезонных благодеяниях, выложил ослепительные деньги.

Пока долетели, пока вселились в роскошный до оторопи номер на девятом этаже, с балконом на колыхание длинных огней в воде залива, на желто-голубое электрическое марево такой близкой Акабы, — уже стемнело...

Они спустились и молча поужинали в китайском ресторане в двух шагах от моря, среди губасто ощеренных, в лакированной чешуе, комнатных драконов, расставленных по всему периметру зала. Она долго штудировала меню и затем минут пятнадцать пыталась официанта — коренастого, вполне натурального с виду китайца (вероятно, все же тайландца) — на предмет состава соусов. Она всегда неплохо щебетала и по-французски и по-английски: отцово наследие.

В конце концов заказала себе неудобнопроизносимое нечто. Он же под учтивым взглядом непроницаемых глаз буркнул «ай ту», после чего пытался вилкой совладать с кисло-сладкими стручками, смешанными с кусочками острого куриного мяса. Есть совсем не хотелось, хотя в последний раз он ел — вернее, выпил водки из пластикового стаканчика — ночью, в самолете. И знал, что есть не сможет до тех пор, пока...

После ужина прошлись — она впереди, он следом — по веселой, бестолково и тесно заставленной лотками и лавками торговой части набережной, где ветер приценивался к развешанным повсюду цветастым шароварам, блескучим шарфикам и длинным нитям лукаво тренькающих колокольцев. Прошествовали по холке голландского мостка над каналом, в черной воде которого огненным зигзагом качалась вереница огней ближайшего отеля; потолкались меж стеллажами книжного магазина «Стемацкий», куда она неожиданно устремилась (хороший признак!) и минут десять, склонив к плечу свой полыхающий сноп кудрей, читала, шевеля губами, названия книг в русском отделе (три полки завезенной сюда мелкой пестрой плотвы российского развода). Он поторопился спросить: «Ты бы хотела какую-ни?..» — ошиб-

22 ка, ошибка! — она молча повернулась и направилась к выходу; он за ней...

В отдалении гигантская вышка какого-то увеселительного аттракциона швыряла в черное небо огненный шар, истекающий упоительным девичьим визгом.

Она все молчала, но, украдкой бросая взгляд на ее озаренный светом витрин и фонарей профиль витражного ангела, он с надеждой подмечал, как чуть поддаются губы, углубляя крошечный шрам в левом углу рта, как слегка округляется подбородок, оживленной блестят ее горчично-медовые глаза... А когда приблизились к аттракциону и внутри освещенного шара увидели смешно задрвшую обе ноги девушку в солдатской форме, она оглянулась на него, не сдержав улыбки, и он посмел улыбнуться ей в ответ...

В отель вернулись к десяти, и еще выпили в гостиничном баре какой-то тягучий ликер (как же здесь, черт подери, все дорого!); наконец вошли в стеклянный цилиндр бесшумного лифта и поплыли вверх, стремительно, будто во сне, нанизывая прозрачные этажи один на другой. Затем по бесконечной ковровой тиши коридора, вдоль дрожащего — на черных горах — хрустального облака огней дошли до нужной двери, и — вот он, в подводном свете полусонных торшеров, их огромный аквариум с *заливистой* стеной во всю ширь балкона, с великолепной, хирургически белой ванной комнатой. Браво, Петрушка!

Пока она плескалась в душе (сложная полифония тугого напора воды, шепотливо журчащих струй, последних вздохов замирающей капли, наконец, жужжания фена; на мгновение даже почудилось легкое мурлыканье?... нет, ошибся, не торопись, это за стенкой или с соседнего балкона), он распеленал белейшую арктическую постель с двумя огромными айсбергами подушек, разделся, расплел косичку, взбодрил пятер-

ней густые черные с яркой проседью патлы, и тем самым преобразился в совершенного уже индейца, тем более что, полуобнаженный, в старой советской майке и трусах, он странным образом утратил жилистую упругость, обнаружив неожиданно развитые мышцы подбористого хищного тела.

Присев на кровать, достал из рюкзака свой вечный планшет с эскизами и чертежами, на минуту задумавшись, стоит ли сейчас вытаскивать перед ней все это хозяйство. И решил: ничего страшного, не думает же она, что он сменил ремесло. Пусть все будет как обычно. Доктор Горелик сказал: пусть все как обычно. Кстати, разыскивая карандаш в неисчислимых карманах рюкзака, он наткнулся на пять свернутых трубочкой сто долларовых бумажек, которые Борька умудрился втиснуть в коробку с ее таблетками лития. Ах, Борька...

Он вспомнил, как тот суетился, провожая их до ворот: добрый доктор Айболит, великан, не знающий, куда деть самого себя; похлопывал Петю по спине мягким кулачищем, как бы стараясь выправить его сутулость, и возмущенно дурашливо бубнил:

— Увозят! Законную мою супругу умыкают, а?! — и Лиза ни разу не обернулась.

...Наконец вышла — в этом огромном махровом халате (а ей любой был бы велик), с белой чалмой на голове. Подобрал полы обеими руками и все же косолапо на них наступая, она — привет, Маленький Мук! — прошлепала на балкон и долго неподвижно там стояла, сложив тонкие, в широченных рукавах, руки на перилах, как старательная школьница за партой. Разглядывала черную ширь воды с дымчато-гранатовыми созвездьями яхт и кораблей и безалаберно кружащую толпу на променаде. Там веселье только начиналось.

24 Они же оба, невольники гастрольных галер, всю жизнь привыкли укладываться не позже одиннадцати.

Вернувшись в номер, она остановилась перед ним — он уже лежал в постели, нацепив на острый нос нелепые круглые очки и сосредоточенно чиркая что-то на листе в планшете, — стянула с головы полотенце, мгновенно пыхнув карминным жаром в топке ошалелого торшера, и с чеканной ненавистью произнесла, впервые к нему обращаясь:

— Только посмей до меня дотронуться!

Молчание. Он смахнул резиновые крошки с листа на котором в поисках лучшей двигательной функции разрабатывал принципиально новую механику локтевого узла марионетки, и ответил несколько даже рассеянно:

— Ну что ты, детка... Ляг, а то озябнешь.

В обоих висках по-прежнему бухал изнурительный молот. И, кажется, черт побери, он забыл свои таблетки от давления. Ничего, ничего... Собственно, сегодня он ни на что и не надеялся. И вообще, все так прекрасно, что даже верится с трудом.

Минут сорок он еще пытался работать, впервые за много недель ощущая слева блаженное присутствие туго завернутого махрового кокона с огнисто мерцавшей при любом повороте головы копной волос и тонким, выставленным наружу коленом. Замерзнет, простудится... Молчать! Лежи, лежи, Петрушка, лежи смирно, и когда-нибудь тебе воздастся, старый олух.

Наконец потянулся к выключателю — как все удобно здесь устроено! — и разом погасил комнату, высветлив черное серебро залива за балконом...

В пульсирующем сумраке из глубин отеля, откуда-то с нижней палубы, текла прерывистая — сквозь шумы набережной, звон посуды в ресторане и поми-

нутные всплески женского смеха — струйка музыки, едва достигая их отворенного балкона.

Вальяжными шажками прошелся туда-сюда контрабас, будто некий толстяк, смешно приседая, непременно хотел кого-то рассмешить. Ему скороговоркой уличной шпаны монотонно поддакивало банджо, а толстяк все пыжился, отдувался и пытался острить, откалывая кренделя потешными синкопами; банджо смешливо прыскало густыми пучками аккордов, и, вперебивку с истомно флиртующей гитарой и голосисто взмывающей скрипкой, все сливалось в простодушный старый фокстротик и уносилось в море, к невидимым отсюда яхтам...

Он лежал, заложив за голову руки, прислушиваясь к миру за балконом, к неслышному утробному шороху залива, понемногу внутренне стихая, хотя и продолжая длить в себе настороженное, тревожно-мучительное счастье... Лежал, поблескивая в лунной полутьме литыми мускулами, — привычно отдельный, как вышелушенный плод каштана, — и не двинулся, когда она зашевелилась, высвобождаясь из халата — во сне? нет, он ни минуты не сомневался, что она бодрствует, — и юркнула под одеяло, перекатилась там, обдав его накопленным теплом, оказавшись вдруг совсем рядом (лежать, пес!), — хотя по просторам этой величественной кровати можно было кататься на велосипеде...

Все его мышцы, все мысли и несчастные нервы натянулись до того предела, когда впору надсадным блаженным воплем выдавить из себя фонтан накопленной боли... И в эту как раз минуту он почувствовал ее горячую ладонь на своем напряженном бедре. Эта ладонь, словно бы удивляясь странной находке, решила основательней прощупать границы предмета...